

ИЗОБРАЖЕНИЕ «ЗВЕРСКОСТИ» ЗЛОДЕЕВ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

А. С. Дёмин

Количество «сквозных» мотивов в древнерусской литературе необъятно. Но на примере одного литературного мотива, пожалуй, уже можно обозреть его историю, вероятно, типичную и для других мотивов, как часть истории древнерусской литературы.

Достаточный материал для наблюдений дают изображения злодеев (убийц, мучителей, захватчиков, изменников, гонителей и т.п.). История изображения злодеев не изучена, и пока возможен лишь её предварительный набросок. Мы сосредоточимся на истории преимущественно только одного мотива — на изображении «зверскости» злодеев, притом в оригинальных (непереводных) древнерусских памятниках, наиболее известных.

«Повесть временных лет»

Самые ранние «зверские» злодеи в древнерусской непереводной литературе — это язычники. Хлёсткая характеристика образа жизни язычников содержится, как известно, в начале «Повести временных лет», где летописец изобразил звериную хищность деревлян: «...древляне живяху звериньскимъ образомъ, живуще скотьски: убиваху другъ друга, ядяху вся нечисто, и брака у нихъ не бываше, но умыкиваху уводы девицы» (13)¹.

Представление о зверской хищности деревлян, по-видимому, было свойственно именно летописцу, а не заимствовано им откуда-то. Так, хотя сходный фразеологический элемент присутствовал в характеристике язычников в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона, но Иларион, в отличие от летописца, имел в виду идейное невежество язычников: «...прежде бывшемъ намъ, яко зверемъ и скотомъ, не разумеющемъ деснице и шюице, и земленныхъ прилежащем, и нимала о небесныхъ попекущемся» (24)².

Осудив деревлян, летописец далее выписал характеристику иных язычников из «Хроники» Георгия Амартола, но в «Хронике» говорилось не о зверской хищности язычников, а об их «скотскости» и дикости: индийцы «убиистводеици <...> человекъ ядуще и страньствующихъ убиваху; паче же ядять, *яко пси*. Етеръ же законъ халдеемъ и вавилонямъ: матери поимати, съ братними чады блудъ деяти, и убивати... Амазоне же мужа не имуть, но и, *аки скоть* бесловеснии, но единою летомъ къ вешнимъ днемъ оземьствени будутъ и сочтаются съ окрестныхъ имъ мужи» (15–16)³. «Скотскость» и дикость язычников отмечалась и в «Речи философа», включённой в «Повесть временных лет»: «...не познаша створышаго, исполнишася блуда, и всякая нечистоты, и убииства, и зависти, живяху скотьски чело-

вещи» (90, под 986 г.). Летописец, указав на зверскую хищность деревлян, добавил «зверскость» к скотскости.

Знал летописец и «Откровение» Мефодия Патарского, из которого о язычниках пересказал сообщение, которое подчёркивало их «нечистоту», но отнюдь не их хищность: «...человеки нечистыя от племени Нелфетова <...> ядыху скверну всяку: комары, и мухы, коткы, змие, и мертвецъ <...> ядыху, и женьскыя изворогы, и скоты вся нечистыя» (235–236, под 1096 г.)⁴. То есть раздражённое представление о зверской хищности деревлян действительно принадлежало самому летописцу, который использовал, как можно предположить, традиционную возможность начинать схему обличения язычников индивидуальными сведениями.

Так, далее в «Повести временных лет» летописец охарактеризовал, помимо деревлян, и другие языческие племена, но на этот раз подчеркнул их «зверскую» дикость, а не хищность: «...и радимичи, и вятичи, и северь одинъ обычаи имяху: живяху в лесе, яко же и всякии зверь, ядуще все нечисто <...> и браци не бываху въ них, но игрища межю селы» и пр. (13–14). В этом сообщении летописец повторил схему характеристики деревлян, однако добавил указание на как бы бездомный, звериный образ жизни племён в лесу. Ведь языческие народы, по представлению летописца, обитали в диких местах (в том числе «древляне ... седоша в лесех» — 6).

О гибкости схемы обличения язычников свидетельствует и то, что по отношению к «поганым» половцам летописец избегал прямых обвинений в их «зверскости». Так, в начале «Повести временных лет» в общей характеристике половцев летописец тоже следовал «Хронике» Георгия Амартола и традиционной схеме признаков дикости язычников, но о «зверскости» половцев не упомянул: «Половци законъ держать отецъ своих: кровь проливати, а хваляще о сихъ; и ядуще мерьтвечину и всю нечистоту — хомеки и сусолы; и поимають мачехи своя и ятрови» (16).

Однако в расплывчатой форме мотив «зверскости» всё же затрагивал половцев. В конце летописи примечательно отношение летописца к половецкому хану Боняку. Летописец говорил о Боняке как о хищнике, но не как о звере: «Приде второе Бонякъ безбожныи, шелудивыи, отаи, *хыщникъ*, г Киеву внезапно» (232, под 1096 г.).

Сопоставление агрессивного персонажа с хищником тоже было традиционным (ср. в переводном «Мучении Еразма»: «...вълче и хыщниче, пажиро душамъ»; «...вълче и хыщниче <...> чьсо ради гониши раба Божия» — 214, 217⁵). Но о половце как волке летописец не обмолвился.

Правда, волк по поводу половца был упомянут в другом месте летописи, но там летописец косвенно указал лишь на родственность Боняка волкам, опять-таки без мотива «зверскости»: Боняк в полночь «поча выти волчьскы, и волкъ отвыся ему, и начаша волци выти мнози», и Боняк понял смысл этого вытья (271, под 1097 г.). Понятна подобная осторожность летописца в обрисовке половцев, с которыми русские то воевали, то мирились и заключали военные и брачные союзы. Традиционный мотив «зверскости» язычников очень лабильно отразился в летописи, вероятно, потому, что сама эта традиция отличалась лабильностью.

Изображение язычников как злодеев содержало также другие мотивы, близкие к мотиву «зверскости». Так, к изображению язычников летописец привлёк ещё один

мотив — их гордую езду на покорённых людях, низведение людей до животных. Например, обры «примучиша дулебы <...> и насилъе творяху женамъ дулепскимъ. Аще поехати будяше обьрину, не дадяхе въпрячи коня, ни вола, но веляше въпрячи 3 ли, 4 ли, 5 ли женъ въ телегу и повести обьрена, и тако мучаху дулебы» (12). Сходный мотив находим в рассказе о деревлянах, которые убили Игоря и потребовали у Ольги, чтобы киевляне несли деревлян в ладье, и «понесоша я в лоды; они же седяху в перегъбех, въ великихъ сустугахъ, гордяшеса» (56, под 945 г.). Этот мотив, возможно, восходил к древнему представлению о «транспортном» унижении побеждённых народов чванливыми победителями (ведь и легенда об обрах и дулебах явно не русская).

Отразились в «Повести временных лет» и настолько свежие литературные мотивы о язычниках-злодеях, что их история ещё не успела сформироваться. К ним относится, например, изображение деятельности русских волхвов после принятия христианства на Руси. Летописец представлял их деятельность оголтело убийственной («убивашета многы жены <...> избила уже многы жены <...> погубиста толико человекъ <...> истребиве сихъ» — 175–176, под 1071 г.). Волхвы выступали виновниками кровожадности персонажа («его же роди мати от вълхвованья... Сего ради немилостивъ есть на кровьпролитъе» — 155, под 1044 г.). Эти злодейские новопоявившиеся волхвы, в представлении летописца, не имели отношения ни к жертвоприношениям у язычников, ни тем более к мудрым волхвам прошлого, а примыкали к половцам, которые «кровь христьянску проливають беспрестани» (227, под 1035 г.).

Прочие летописные вариации изображения «зверскости» злодеев относятся уже к злодеям из христиан. Первым таким злодеем-христианином был изображён под 980 г. воевода Блуд (Будый), предавший своего князя на смерть. Летописец представил Блуда как неистового человека в своей злодейской энергии («то суть неистовии...»), непрерывно занятого мыслью об убийстве князя («се есть советъ золь <...> иже мыслять о главе князя своего на пагубленъе <...> мысля убити <...> погубити ѥ» — 77), всё время лгущего своей жертве («О, злая лесьть человеческа... Се бо лукавьствоваше на князя своего лестью <...> лстя ему <...> замысли лестью <...> лстяче <...> лстя подъ нимъ» — 76–77) и стремящегося к кровопролитью («иже совещеають на кровопролитъе... Се бо бысть повинень крови тои» — 77). Летописец к таким злодеям применил соответствующие цитаты из Псалтыри с теми же мотивами (мысли злодеев об убийстве — «лесьть» — кровь), но в своём повествовании темпераментно усилил эти традиционные мотивы ввиду тогдашней крайней злободневности сюжета. Литературная традиция, можно сказать, наливалась кровью.

Далее. Богатейшим творческим использованием литературных традиций отличилась другая летописная статья — «О убиеньи Борисове» (под 1015 г. и под 1019 г.). Что касается характеристики убийц Бориса и Глеба, то летописец (или автор статьи) воспользовался почти всеми видами традиционных средств повествования о злодеях. Так, упоминание о зверской хищности летописных персонажей относилось к убийцам Бориса: «...и се нападоша, акы зверье дивии, около шатра, и

насунуша ѥ копѣи, и прободоша Бориса и слугу его» (134, под 1015 г.). Сравнение нападавших злодеев с дикими зверьми было совершенно традиционным издавна. Оно встречалось, например, и в переводной «Повести о святом Авраамии» Ефрема («яко зверие дивии, устремиша ся на нь, и биюще» — 477⁶); в «Житии Феодосия Печерского» Нестора («устрьмиши ся на ня, акы зверие дивии» — 104⁷); в «Чтении о Борисе и Глебе» Нестора («рикающе, акы зверие дивии, поглотити хотяще праведнаго», «акы зверие дивии, нападоша на нь», «устремишася по немь, акы зверие дивии» — 10–12⁸).

Кроме того, автор летописной статьи повторял и слегка варьировал выражения из «Хроники» Георгия Амартола⁹. Но самое главное — автор свободно, никому не подражая дословно, высказывался на традиционные темы о замысле злодея («Каиновъ смыслъ приимъ»; «помысли въ себе <...> како бы убити; «нача помышляти, яко избыю» и т.д. — 132, 135, 139), о «лести» злодея («лстя <...> како бы ѥ погубити», «с лестью» и пр. — 132, 135), о кровопролитии («каплями кровными святыми очервивша багряницу» — 138; «кровь брата моего вопъеть к тебе, Владыко; мсти от крове праведнаго сего» — 144, под 1019 г.).

Наконец, в статье «О убиеньи Борисове» можно отметить и сравнительно индивидуальную склонность летописца в обрисовке злодеев, отсутствующую в других произведениях о Борисе и Глебе, — летописец многократно подчёркивал, что злодеи «скори» в своём злодействе: «вскоре обещахася» убить праведника; торопились «вборзе» сорвать гривну с шеи жертвы; «на зло слеми скори суть»; «внезапу придоша <...> на погубленье <...> и ту абъе <...> яша» другого праведника и велели «вборзе резезати» его (132, 134–136). Автор выразил представление о злодейском напоре убийц (мотив, родственный зверской хищности язычников).

Одним из последних летописных рассказов о злодеях была составленная неким Василием повесть под 1097 г. об ослеплении теребовльского князя Василька Ростиславовича. Своеобразие рассказа заключалось, между прочим, в описании состояния главного инициатора ослепления: владими́ро-волы́нский князь Давид Игоревич «сediaше, акы немъ <...> и не бе в Давиде ни гласа, ни послушанья, — бе бо ужаслься и леть имей въ сердци» (259). По традиции, злодеи обычно сообщали своим сторонникам о своей злодейской цели или признавались о ней «въ себе». Но описание эмоционального состояния злодея перед преступлением (притом не ярости, а более человеческого чувства) — это, пожалуй, нечто новое для литературной традиции, да и для летописи тоже. Автор повести вообще был отзывчив на чувства персонажей. У него то персонаж «смятеся умом» и «сжалиси», то другой персонаж «възпи к Богу плачем великим и стенаньем», третий персонаж «плакатися нача», четвёртый персонаж «ужасеся и всплакавъ», прочие персонажи «печална быста велми и плакастася», а кто-то «радъ бывъ» и т.д. и т.п. (257, 260–267). Подобная явственная новация в традиции появилась, конечно, под впечатлением автора от реальных княжеских злодейств конца XI — начала XII вв.

В результате «Повесть временных лет» очень продвинулась в изображении злодеев. В этом также заключается её литературное богатство.

Произведения второй половины XII–XVI вв.

В произведениях после «Повести временных лет» мало что прибавилось нового; авторы ограничивались только мелкими единичными новациями.

Владимир Мономах в своём **«Поучении»** использовал образ волчьей хищности половцев: «...ехахом сквозе полкы половъчские не въ 100 дружине и с детми и с женами, и облизяхуся на нас, акы волцы, стояще» (249)¹⁰. Сопоставление половцев именно с облизывающимися волками было очень живым, явно нетрадиционным и отражало охотничий опыт Мономаха, о котором Мономах подробно повествовал в «Поучении». Вот так рано в изобразительность литературного произведения стихийно вмешалась и индивидуальная жизнь автора.

Летописи XII–XIII вв. и совсем не внесли ничего нового в традицию изображения злодеев, постоянно сравнивая их со свирепыми зверьми, насыщающимися кровью и борзо передвигающимися. Встречается лишь одно исключение. Во **«Владими́ро-Сузда́льской летописи»** под 1169 г. (а в Галицко-Волынской летописи) под 1172 г.) содержится ругательный рассказ о владимирском епископе Феодоре, подвергнутом казни за жестокие муки неугодных ему людей, «от звероядиваго Феодорца погыбающим от него» (357)¹¹. Летописец постарался собрать всевозможные положенные проклятия злодею против «злаго, и пронырливаго, и гордаго лестьца, лжаго владыку Феодорца» (255. В рифму сказано!), «безъмилостивъ сый мучитель» (356) и пр. Но необычно обвинение злодея в бешеной, нечеловеческой энергии, даже не зверской, а адской: «...именя бо бе не сытъ, акы адъ <...> яко и сего доведоша беси, възнесше мысль его до облакъ, и устроивше в немъ 2-го Сотонаила, и сведоша ѥ въ адъ» (356). Ад как мера пороков. Откуда явилось это сравнение с адом, неясно. Может быть, из церковной устной речи? Хотя доказательств тому нет. Изобразительность литературного рассказа могла питаться филиппиками.

Прочие произведения разных жанров XII–XVI вв., говоря о злодеях, тоже повторяли в разных вариантах традиционные выражения о зверях и волках, об аспидях и ехиднах, ядовитых змеях и львах. Разве что в **«Житии Авраамия Смоленского»** Ефрема встречаем новое сравнение: местные попы «хотеша бес правды убити» Авраамия, и на суде «бе-щину попомъ, яко воломъ, рыкающимъ» на блаженного (82)¹². Рычащих зверей, в том числе львов, заменили волы. Причиной этого единичного отступления от традиции, скорее всего, было влияние бытовых представлений автора, эпизодически проявлявшееся в «Житии» (вот некоторые бытовые детали, использованные автором: Авраамий «черну браду таку имея, плешиву разве имея главу» — 78; «яко птица, ять руками» — 80; «языкъ, яко затыка, въ устехъ бяше» — 86; «скупы ограды овощныя» — 90; «онъ рогоже положи и постелю жестоку» — 98; и т.п.). Живая обыденная жизнь иногда подталкивала авторов к «точечному» обновлению литературных традиций.

Сходное явление встречаем и через 200 лет в **«Житии Евфросина Псковского»** Василия: на псковских монахов горожане «яко осы или яко пчелы сотъ, разсверепевше, наскакаху <...> уязвляюще» (92–93)¹³. Пчёлы из символа книжной премудрости оказались переосмыслены в то, чем они являются в реальной жизни. Связи между Василием и Ефремом в данном случае не было никакой. Исподволь

влият быт. Таково было, условно говоря, сравнительно созерцательное «семейство» древнейших памятников.

Что-то сдвинулось затем в изображении «зверскости» злодеев, судя по повестям XV–XVI вв. о восточных нашествиях на Русь. Все враги пребывали в дикой ярости, а под конец — в страхе. В так называемой пространной летописной **повести о Куликовской битве** Мамай «сеченыа свои видевь, *възъярився зраком*, и смутися умомъ, и распалися лютою яростию, аки аспида некаа, гневом дышуще <...> престопааше, аки змиа къ гнезду, <...> на крестьяньство...» (19)¹⁴, — обратим внимание на зримое описание гнева Мамай: «възъярився зраком». В других повестях о Куликовской битве такой детали нет. Её появление объясняется некоторой склонностью автора к изобразительному изложению событий, к упоминанию лиц персонажей («бился с тотары в лице», «лице свое почну крыти» — 22; «отврати, Господи, лице свое от них» — 18; «очи нашы не могут огненныхъ слез источати» — 21); кроме того, автор указывал внешнее состояние оружия и доспехов («беаше видети всь доспехъ его битъ и язвен» — 22; «поострю, яко молнию, мечъ мой» — 18; «пошли <...> на остраа копыа» — 19); как бы лицезрел окружающую обстановку («бысть тма велика по всей земли: мыгляне бо было беаше того от утра <...> бе бо поле чисто и велико зело <...> и покрыша полки поле» — 20; «проляша кровь, аки дождева туча, <...> паде трупъ на трупе <...> видеша полци — тресолнечный полкъ и пламенныа их стрелы» — 21; «оступиша около, аки вода многа, обаполы» — 22). По-видимому, пространная летописная повесть была составлена гораздо позже Куликовской битвы (см. об этом цикл работ М. А. Салминой), оттого автор для вящей драматичности украсил повествование небольшими картинками и изобразил злодея с яростным лицом.

Традиция изобразительного украшения воинских повестей, написанных гораздо позже описываемых событий, распространилась в XVI в. Причём злодеи изображались в зависимости от сюжетных ситуаций. Так, в «**Повести о разорении Рязани Батыем**» среди частых упоминаний о ярости врага сказано, что «окаянный Батый и дохну *огнем* от мерскаго сердца своего» (188)¹⁵. Эта «огненная» деталь своеобразна и связана с тут же развертывающимся рассказом о сожжении Рязани: «...приидоша погани <...> с *огни* <...> священнический чин *огню* предаша, во святй церкви *пожегоша* <...> и весь град *пожегоша*» (190).

В другом произведении — «**Сказании о Мамаевом побоище**» — обуреваемый яростью Мамай, обещавший убить Дмитрия Донского, почему-то срывается на крик — деталь тоже редкостная: «Онъ же нечестивый царь, разжень диаволом на свою пагубу, *крикнувъ* напрасно, *испусти гласъ*: “Тако силы моа, аще не одолею русских князей, ть како имамъ възвратитися въ своаси?..”» (38)¹⁶. Причина упоминания крика (восклицания) заключалась в том, что у автора повести Мамай, в отличие от русских персонажей, всегда во всеуслышание объявлял о своих грубых планах и опасениях.

Но начались перемены, видимо, с риторики. Так, в «**Повести о Темир Аксаке**» автор щедро описал страх свирепого Темира: «...убояся, и устрашися, и ужасеся, и смятеся; и нападе на нь страхъ и трепеть, вниде страхъ въ сердце его

и ужась в душу его, вниде трепеть в кости его» (238)¹⁷, — это следы так называемого «второго южнославянского влияния», впрочем, редкие в повести.

Бесконечные же украшения речи, риторические компиляции и распространения традиционных выражений, принадлежавшие самому автору-комбинатору (или редактору), содержала так называемая московская **«Повесть о походе Ивана III на Новгород»**: «...мужие новгородьстии лукавствомъ своя злыя мысли възгордевшися...»; «...яко волкъ, чрезъ ограду хотяше влезти ко овцамъ...»; «...яко же аспиду глуха, затыкаючи уши свои...»; «...мечущеся <...> на лесъ, яко скоть, бредяху» и др. (3, 6, 8, 11)¹⁸.

Таким образом, традиция изображения злодеев древнерусскими писателями сочетала обязательное единообразие схем и символов с разнообразием индивидуальных мелких новаций, появлявшихся по самым разнообразным причинам.

Более крупное отступление от традиции произошло в **«Повести о Тимофее Владимирском»**, сюжет которой был совершенно уникален: молодой православный священник бежал в Казань, стал воеводой у казанского царя и, «бусарманскую срацынскую злую веру приять <...> золь гонитель бысть и лють кровопийца христианескъ пролияти кровь неповинных русских людей» (48, 60)¹⁹; но через 30 лет злодей раскаялся, и автор повести вдруг увидел, как выглядел раскаявшийся злодей: «...верстою бы онъ в пятьдесят летъ бывъ» (64); если перед раскаянием он ещё взирал «ярыма своима очима зверинымъ» (дань «зверскости» злодея), то после раскаяния так «плакася от полудне того до вечера, донеле гортань его премолча и слезы исчезосте от очию его» (60). Автор очертил позы раскаявшегося предателя: «...сшед с коня, о землю убивашеся» (60); «...свержеся с конех своихъ долу на землю» (64); «...спа до утра на траве» (62); и умирая, «нози свои, яко живь, простре» (64). Одежды персонажа также обозначил автор: мятущийся Тимофей то «пременив образ свой поповский и облечеся в воинскую одежду» (58), то стал носить «драгия ризы», но в конце концов «облече на него смиренныя <...> одежды» (64). Кони, на которых ездил Тимофей, также не были обойдены вниманием автора повести: «...гнаше <...> на дву скорых драгих конехъ», а «на них басманы великие полны насыпаны злата, и сребра, и драгихъ камней» (64, 66). Все эти детали автор не помышлял объединить в портрет человека, а в рассыпанном виде упоминал в тексте повести. Но примечательно само сочувственное «оживление» главного персонажа, необычное для литературной традиции изображения злодеев.

Объяснить данную особенность можно устным источником автора. Ведь автор в конце повести как бы в виде извинения приписал: «Сия ж повесть многа летъ не написана бысть, но тако в людехъ в повестех ношашеся. Аз же слышахъ от многихъ сие и написахъ ползы ради...» (66). Но независимо от того, какова была легенда и как её переложил автор письменной повести, мы обнаруживаем любопытный факт: житийная традиция изображения праведников, их лиц, поз, одежд и пр. была перенесена, как нетрудно убедиться, на изображение великого грешника. Традицию изображения злодеев жанрово расширил чувствительный автор.

Перейдём к более позднему времени. Во второй половине XVI в. литература пошла по пути обильного компилирования и нагнетания признаков, традиционно

приписываемых особо лютым злодеям. Например, в **«Казанской истории»** автор создал условный образ: казанский царь Улу-Ахмет «возведе очи своя звериныя на небо», «поскрежета зубы своими, яко дикий вепрь, и грозно возсвиста, яко страшный змий великий <...> яко левъ, рыкая и, яко змий, страшно огнемъ дыша» (322, 324)²⁰. Иногда образ злодея у автора повести становился более реальным, хотя и оставался гиперболическим вроде татарского богатыря Аталыка: «Величина же его и ширина, аки исполина; очи же его бяху кровавы, аки у зверя или человекаядца, велики, аки буявола» (352). Автор был в своём роде романтиком и романтически относился как к русским, так и к казанским персонажам, потому что писал, по его определению, «сладкия сея повести» (300).

«Степенная книга» была гораздо более консервативна; и всё же, хотя и в единичных случаях, её составитель вносил дополнительные детали в описания, становившиеся от этого едко карикатурными: Батый «яко же некий зверь, вся поядая, останки же ноготыми растерзая» (262)²¹; Темир Аксак в **«Степенной книге»** «внезапу воздрогнувъ и ужасно воскочивъ <...> и нелепо воскрича страшнымъ гласомъ, трясыйся и стенаше» (437). Религиозно-политический нажим «утяжелял» литературную традицию изображения злодеев.

Элементы образности ещё сильнее «утяжелились» в **«Повести о прихождении Стефана Батория на град Псков»**. «Зверскость» Стефана и его войска автор обозначил не только густыми сочетаниями обычных символов (голодный зверь, аспид, змий, жало, яд, волки и пр.), но однажды увлёкся цельным развёрнутым образом крылатого огнедышащего змея и дыма: «...яко насытый ад, пропастьныя своя челюсти роскидаша и оттоле града Пскова поглотити хотяше. Спешнее же и радостнее ко Пскову, яко из великих пещер лютому великому змию, летяше. Страшилищами же своими, яко искры огненными дым темен, на Псков летяше... И тако все, яко змии на крылех, на Псков град леташе и сего горделивством своим, яко крылами, поваляти хотяше; змеинными языки своими вся живущия во граде Пскове, яко жалами, уморити мняшеся» и т.д. (424, 426)²². Автор повести там, где он писал о Стефане Батории и его войске, создал, в сущности, нечто вроде злорадного памфлета. На это указывает, в частности, авторское рассуждение, следующее сразу же за образом змея и чёрного дыма: «От полуденныя страны богохранимого града Пскова дым темен: литовская сила на черноту псковския белыя каменные стены предпослася, ея же ни вся литовская земля очертети не может». И далее: «И сий, яко дивий вепрь из пустыни, прииде сам литовский король... Сий же неуголимый лютый зверь насытною своею гладною утробою пришед <...> всячески умом розполашеся...» (428).

Политические чувства писателей стали приводить к заметным видоизменениям очень стойкой традиции изображения злодеев в литературе. «Зверскость» злодеев с течением времени превратилась в ругательную оценку и требовала предметных дополнений, делавших произведения более или менее своеобразными, каждое в своём роде. Но, отвлекаясь от частных случаев, мы схематически можем выделить у памятников два литературных «семейства»: «семейство» древнее, ведущее своё начало от **«Повести временных лет»**, и «семейство» более позднее, состоящее в основном из воинских повестей, обычно связанных с летописанием.

Произведения XVII в.

В произведениях, рассказывающих о событиях Смутного времени, всюду расцвела эмоциональная традиция сравнивать врагов со злыми волками, лютыми львами, змиями, аспидами, скорпионами и пр. Но, естественно, появились и многочисленные новации.

Начнём с рассмотрения **«Новой повести о преславном Российском царстве»**. В авторские проклятия злодеям проникла некая хозяйственная тема. Автор повести, наряду с упоминанием экзотических животных, стал ориентироваться и на животных бытовых, домашних. Так, злодей был сравнён с жеребцом: наш «аки прехрабрый воин лютаго, и свирелаго, и неукротимаго жребца, ревушаго на мску, браздами челюсти его удерживаетъ, и все тело его к себе обращаетъ, и воли ему не подасть» (34)²³. Злодеи неоднократно напоминали автору повести лающих псов: «...начать, аки безумный песь, на аерь зря лаяти <...> яко песь, лаяль и браниль» (42); предать врагам, «аки псомъ на снєдение» (40).

Дело в том, что, изображая врагов-захватчиков, автор исходил из неотчётливого представления то ли о неухоженной усадьбе, то ли о запущенном хозяйственном дворе. Поэтому злодеев он выдавал за сорняки, за вредоносные корни: «...чтобы от того гнилаго, и нетвердаго, горкаго, и криваго коренни древа <...> отвратити <...> и злое бы корение и зелие ис того места вонъ вывести (понеже много того корения злаго и зелия лютаго на томъ месте вкоренилось)» (28); «...чего <...> злому корению и зелию даете в землю вкоренитися и паки, аки злому горкому педыню, распложатися?» (48); «...сами в свою землю и веру злое семя вкореняемъ» (50).

Но особенно ясно бытовые ассоциации автора проявились в сценках поведения врагов — хитрых злодеев. Это — развёрнутое сравнение с корыстным женихом («...не по своему достоянию <...> хоцетъ пояти за ся невесту красну, и благородну, богату же, и славну, и всячески изрядну. И нехотения ради невестина и ея сродниковъ <...> не можаше ю вскоре взяти» и пр. — 30); сравнение с бесчестными покупателями-насильниками («купльствуютъ не по цене, отнимаютъ силно, и паки не ценою ценять и серебро платят, но с мечемъ над главою стоять» — 48); сравнение с раболепными нищими перед богачом («смотрят из рукъ и ис скверныхъ усть его, что имъ дать и укажетъ, яко нищии у богатаго проклятаго» — 46); сравнение с буйным скандалистом (на свою жертву «нелепыми славами, аки сущий буй, камениемъ на лице <...> метати, и <...> безчестити, и до рождышиа его неискуснымъ и болезненнымъ словомъ доходити <...> шумень былъ и без памяти говорил» — 42).

В общем, изображение врагов-злодеев разворачивалось у автора повести как бы на фоне неладной городской жизни. Разграбление царской казны и разорение Российского государства интервентами и предателями, о чём с отчаянием писал автор повести, по-видимому, подтолкнуло его к «хозяйственной» изобразительности.

Возможно также, что на автора повести действовала и давняя традиция изображения угнетаемых или гонимых народов и персонажей, когда авторы обычно использовали хозяйственно-бытовые детали для подчёркивания возмутительности ситуаций. Вспомним о «Повести временных лет» (обры — мучители дулебских

женщин), о «Житии Авраамия Смоленского» (попы — преследователи Авраамия), о «Житии Евфросина Псковского» (попы — хулители Евфросина). Впрочем, существование этой традиции ещё предстоит подтвердить.

Само разнообразие же хозяйственно-бытовых сопоставлений в «Новой повести» объясняется действительно совсем новым явлением — зашифрованностью сравнений из политических соображений: ведь осторожный автор повести никого из главных персонажей не назвал по имени, хотя его намёки были более чем прозрачны. Политическое давление на изобразительность стало распространённой традицией, но относительно недавней.

Таким образом, что касается изображения злодеев, «Новая повесть» продолжила новации уже не в одной, а, по крайней мере, в двух, притом очень разных, политизированных традициях (бытовой и «шифровальной»).

В последующих произведениях о Смуте среди привычных сопоставлений злодеев с привычными же зверями начали накапливаться мотивы, относящиеся к реальной природе. Пожалуй, первые элементы этого появились в «Сказании» Авраамия Палицына, вообще-то очень скупом в употреблении сравнений, но всё-таки: «...яко лютыя лвы *ис пещер и из дубрав*...»; «...ползающе, аки змия, по земли *молком*...»; «...лукави суще, яко *лисица*...» (212, 248, 268)²⁴.

Особенно же много сопоставлений из мира реальной природы, применённых к злодеям, скопил в своём «Временнике» велеречивый Иван Тимофеев. Прежде всего, он снабдил более или менее реалистичными дополнениями традиционно упоминаемых животных. Так, змий получил хвост и зубы: злодей «яко змий, держася, обвив хоботом своим»; «окруживше объятием, яко велий змий хоботом»; «враждебно, яко змиеве, своими зубами держащих» (79, 141, 119)²⁵. Змеи стали шипеть: «...яко змиев, гнездящихся и сипящих» (165). Аспиды стали показывать пасть: «...поглощения гортани зубов оного аспида» (80); «...зиянием горла он си един, яко аспида, устраши» (131). Просто звери тоже стали показывать себя: «...яко в берлозе дивия некако, лестне крыясь» (53); «...яко же зверь некий, обратився навспясть, зубы своими угрызну» (73). Вепрь стал вести себя мирно, но хищно: «...яко вепрь, тайно нощию от луга пришед <...> кости ми оглада» (78). Псы, олицетворяющие злодеев, тоже стали у автора конкретнее: «...яко в просту храмину <...> пес со всесквернавою сукою <...> вскочи» (88); «...уже от сухих костей, подобно псу, тех сосет мозги» (78–79); «...егда по случаю некако пес восхитит негде <...> снесь <...> бежит в место тайно тоя снести. Прочии же пси, таковое узревше восхищенное, у единого отъемлют и наслажаются вси купно <...> пожимают же растерзательно и небрежно, обаче и растрашают много, прерывающе <...> обидимым изгрызатися» (89), — целая картинка, наблюденная автором в жизни города или села.

Появились во «Временнике» и менее традиционные существа, символизирующие злодеев, например, козлы: «...яко козел, ногама збод и <...> долу сверг» (46); «...яко дивий козел, овна рогами збод» (72).

Наконец, внимательный наблюдатель природы Иван Тимофеев охотно сравнивал злодеев с неприятными и опасными явлениями — с нечистотами, тучами, ночной тьмой, пожаром и дымом: «...яко многомутныя *нечистоты* воды от скверных мест

<...> собранием истекоша» (141); «...яко темен *облак* возвлекся от несветимыя тмы» (83); «...яко <...> мрачен *облак* тмы исполнися» (88); «...яко *нощь* темна видением зряхуся» (13); «...яко *главню* некую, искр полну, ветром раздомшую <...> внесоша <...> яко саморазжено углие огнено <...> к запалению совнесше <...> все огнем запальше, испепелиша» (14); «...яко *дым* по воздуху разшедшеся» (32); «...яко огню *дымоподобие* некаку <...> курящуся» (47).

Отчего так старался Иван Тимофеев? Автор «Временника» в изображении злодеев, возможно, развил изобразительно-политический опыт «Повести о приходе Стефана Батория на град Псков», а зашифровывающую функцию сравнений воспринял из «Новой повести о преславном Российском царстве». Новая остро политическая «шифровальная» традиция всё шире влияла на памятники. Это подтверждает и признание самого дьяка Ивана Тимофеева о том, что, боясь преследований польско-литовских интервентов и их пособников, он нарочно писал трудно понимаемым риторическим языком, прятал и перепрыгивал свои записи. Сравнения с природными явлениями и добавление реальных деталей из поведения животных тут пришлось как нельзя кстати.

Прочие произведения о Смуте не отличались оригинальностью в изображении хищности злодеев, изредка лишь подменяя детали (ср. в «**Хронографе 1617 г.**»: «аки злый *врань*, иже злобою очерненный»; «аки злодыхательная *буря* надымаяся» — 322, 332²⁶). В общем, произведения о Смуте всё-таки относились ко второму «семейству» встревоженных памятников.

В более поздних произведениях XVII в., уже не посвящённых событиям Смутного времени, злодеев было немного. В первую очередь надо рассмотреть необычный литературный шедевр — «**Повесть о Горе-Злочастии**».

У Горя можно отметить четыре своеобразия. Во-первых, Горе, конечно, злодей, но злодей странный. Горе никого не убивает и не мучает. Оно только навязчиво преследует Молодца: «Стои ты, Молодец! Меня, Горя, не увидишь никуда» (XVII); «не на час я к тебе, Горе-Злочастие, привязалось» (XX); «с тобою пойду подь руку под правую» (XXI)²⁷. Горе только страшит Молодца смертью: «...бывали люди у меня, Горя, и мудрая тебя, и досужае, и я их, Горе, перемудрило <...> до смерти со мною боролися <...> не могли у меня, Горя, уехати <...> они во гробъ вселилися» (XIII); «...быть тебе от невесты истравлену, еще быть тебе от тое жены удавлену, и з злата и сребра бысть убитому»; «...хошь до смерти с тобою помучуся <...> кто в семью к нам примещается, ино тот между нами замучится» (XX); «...умереть будеть напрасною смертию», «чтобы Молодца за то повесили или с каменемъ въ воду посадили» (XXII). Горе у автора повести предстало в каком-то смягчённом виде: его не уничтожают и не прогоняют, оно есть — и приходится его терпеть.

Вторая черта Горя — его погружённость в быт. Горе преследует Молодца, так сказать, охотничьими и хозяйственными способами: в просторном поле «...злое Горе <...> на чистомъ поле Молодца встретило, учало над Молодцемъ граяти, что злая ворона над соколомъ... Горе за ним белымъ кречетомъ... Горе за нимъ з борзыми вежлецы... Горе пришло с косою вострою... Горе за ним с щастыми неводами» (XX–XXI).

Третья черта Горя: по сравнению с прошлыми изображениями злодеев автор повести представил Горе в приземлённо бытовом виде, но не зверском или скотском. Горе, скорее, напоминает прилипчивого и наглого алкоголика: «...хочу я, Горе, в людех жить, и батогомъ меня не выгонит; а гнездо мое и вотчина во бражниках...» (XIII); «...босо, наго, нетъ на Горе ни ниточки, еще лычкомъ Горе подпоясано, багатырскимъ голосомъ воскликано» (XVI–XVII). Горе похоже на пьяниц из другого произведения — из «Службы кабаку», где постоянны и часты упоминания «наготы-босоты» пьяниц, которые «горлы рыкают» и, обретаясь в кабаке, «яко ворона по полатам летает» (206, 198, 201)²⁸. Бытовые мотивы вышли на первый план при изображении Гора-Злочастия, полностью вытеснив влияние политики, потому что Горе — «свой», российский персонаж, а не иностранный злодей, как это было в литературе ранее. Можно предположить, что «природо-хозяйственное» изображение российских пособников внешних врагов в какой-то мере помогло переходу к изображению злодея внутрироссийского, бытового.

Четвёртая черта: Горе более зловеще, чем просто опустившийся пьяница или «лихой человек», который «в тотъ час у быстри реки скоча <...> из-за камени» (XVI). У Гора нет лица, и «серо Горе горинское» (XIII). Оно, как оборотень, только прикидывается перед Молодцем то человеком «голеньким»; то божественным вестником, архангелом Гавриилом; то, подобно «людям добрым», якобы благим наставником; то охотником; то рыболовом; то вроде бы превращается в хищную птицу. На беса оно всё-таки не похоже, потому что бесы в состоянии насладиться на человека болезнью и смертью, а Горе этого сделать не может и не хочет. Кроме того, бесы жестоко шалют в монастырях и монастырских кельях (ср. «Повесть временных лет»), а «Горе у святых воротъ остается, к Молотцу впредь не привяжетца» (XXII). Вероятно, автор повести исходил из представления, что Горе — это не бес, а какая-то более слабая, притом бытовая, нечистая сила. Недаром Горе предлагает Молодцу: «...покорися мне, Горю *нечистому*» (XVII), — тут у эпитета «нечистый» двойной смысл, прямой и переносный.

В общем, смягчённое отношение автора повести к своим персонажам коснулось не только Молодца, но и Гора. В «Повести о Горе-Злочастии», по-видимому, отразились умиротворённые настроения после преодоления Смуты.

Наконец, в последней четверти XVII в. о «зверскости» злодеев-мучителей людей упорно писали старообрядческие деятели, особенно Аввакум. Однако, вопреки нашим ожиданиям, новаций у него было очень немного. Так, Аввакум в своём «Житии» применял к злодеям (к патриарху Никону, никонианам, властям и «начальникам») в основном сравнения старой традиции, — с дикими зверями, волками, адовыми псами; а также сравнения относительно более поздней традиции, — например, с лукавыми лисами. Это были обличения в «высоком» стиле. Реже Аввакум обращался к сравнениям из области быта и реальной природы: «...власти, яко козлы, пырскать стали на меня» (379); «оборвали, что собаки» (380); «...что вольчонки, вскоца, завыли» (384)²⁹. Это были презрительные обличения, так сказать, в «низком» стиле.

Но есть в «Житии» Аввакума удивительное описание злодея — жестокого воеводы Пашкова, когда из неудачного похода, еле спасшись, вернулся его раненый сын, за которого воевода очень беспокоился: «Он же Пашковъ, оставя застенокъ, к сыну своему пришел, *яко пьяной, с кручины*»; тут же присутствовал Аввакум, которого Пашков собирался пытать в застенке: «Пашковъ же, возведь очи свои на меня, — слово в слово, *что медведь морьской белой*, — жива бы меня проглотить, да Господь не выдасть! — вздохня, говорить... Десеть летъ онъ меня мучилъ, или я ево — не знаю, Богъ розбереть в день века» (372). В приведённых двух сравнениях отразилось и представление Аввакума о внешнем виде Пашкова (грузный, седой); и сочувствие своему мучителю, пребывающему в «кручине» (это подметил Д. С. Лихачёв); и ощущение сдерживаемой «зверскости» врага. Множественность смыслов сценки свидетельствует, что Аввакум создал художественный образ, выразив своё живое впечатление от события и тем самым введя принципиально важную, многообещающую новацию в традицию изображения злодеев.

Больше ничего особо выдающегося по нашей теме в прочих произведениях XVII в., кажется, не встречается. Третье, уже художественное «семейство» памятников ещё только начало формироваться.

Обозревая (конечно, неполно) историю мотива «зверскости» злодеев в древнерусской литературе за 700 лет, мы сталкиваемся с непривычным для нас явлением: бурного развития этого косного многовекового литературного мотива, в сущности, не происходило; он, как правило, допускал лишь эпизодические дополнения по самым разнообразным поводам, преимущественно политическим или бытовым. Деление памятников на три «семейства» очень условно. Мотив «зверскости» злодеев — один из «стержней», скреплявших в единое целое древнерусскую литературу, и одновременно индикатор её художественности.

¹ «Повесть временных лет» цит. по: ПСРЛ. М.: Языки славянской культуры, 1997. Т. 1 / текст памятника подгот. Е. Ф. Карский.

² «Слово о Законе и Благодати» цит. по: Идеино-философское наследие Илариона Киевского / текст памятника подгот. Т. А. Сумникова. М.: Ин-т философии, 1986. Ч. 1.

³ См.: Шахматов А. А. «Повесть временных лет» и её источники // ТОДРЛ. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. Т. IV. С. 46–47; Истрин В. М. Книги временныя и образныя Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Пг.: Изд-во АН СССР, 1920. Т. 1: Текст. С. 50.

⁴ См.: Шахматов А. А. «Повесть временных лет» и её источники. С. 95, 98; Тихонравов Н. С. Памятники отречённой русской литературы. М.: Тип. изд-ва «Общественная польза», 1863. Т. 2. С. 207.

⁵ «Мучение Еразма» цит. по: Успенский сборник XII–XIII вв. / изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М.: Наука, 1971.

⁶ «Повесть о святом Авраамии» Ефрема цит. по: Успенский сборник XII–XIII вв. Указ. соч.

⁷ «Житие Феодосия Печерского» цит. по: Успенский сборник XII–XIII вв. Указ. соч.

⁸ «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора цит. по: Абрамович Д. И. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пг.: Издание Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, 1916.

- ⁹ См.: Дёмин А. С. Поэтика древнерусской литературы: (XI–XIII вв.). М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. С. 168, 172.
- ¹⁰ «Поучение» Владимира Мономаха цит. по: ПСРЛ. Т. 1. Указ. соч.
- ¹¹ «Владими́ро-Суздальская летопись» цит. по: ПСРЛ. Т. 1. Указ. соч.
- ¹² «Житие Авраамия Смоленского» цит. по: ПЛДР: XIII век / текст памятника подгот. Д. М. Буланин. М.: Худож. лит., 1981. С. 82.
- ¹³ «Житие Евфросина Псковского» Василия цит. по: Памятники старинной русской литературы, издаваемые Г. Кушелевым-Безбородко. СПб., 1862. Вып. 4: Повести религиозного содержания, древние поучения и послания, извлечённые из рукописей Н. Костомаровым.
- ¹⁴ Пространная летописная повесть о Куликовской битве цит. по: Сказания и повести о Куликовской битве / текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. Л.: Наука, 1982.
- ¹⁵ «Повесть о разорении Рязани Батыем» цит. по: ПЛДР: XIII век / текст памятника подгот. Д. С. Лихачёв. Указ. соч.
- ¹⁶ «Сказание о Мамаевом побоище» цит. по: Сказания и повести о Куликовской битве / текст памятника подгот. В. П. Бударгин и Л. А. Дмитриев. Указ. соч.
- ¹⁷ «Повесть о Тами́ре Аксаке» цит. по: ПЛДР: XIV – середина XV века / текст памятника подгот. В. В. Колесов. М.: Худож. лит., 1981.
- ¹⁸ Московская «Повесть о походе Ивана III на Новгород» по Бальзерову списку цит. по: ПСРЛ. СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1853. Т. 6.
- ¹⁹ «Повесть о Тимофее Владимирском» цит. по: ПЛДР: конец XV – первая половина XVI века / текст памятника подгот. Н. С. Демкова. М.: Худож. лит., 1984.
- ²⁰ «Казанская история» цит. по: ПЛДР: Середина XVI века / текст памятника подгот. Т. Ф. Волкова. М.: Худож. лит., 1985.
- ²¹ «Степенная книга» цит. по: ПСРЛ. СПб.: Тип. М. А. Александрова, 1908. Т. 21, ч. 1 / текст памятника подгот. П. Г. Васенко.
- ²² «Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков» цит. по: ПЛДР: Вторая половина XVI века / текст памятника подгот. В. И. Охотникова. М.: Худож. лит., 1986.
- ²³ «Новая повесть о преславном Российском царстве» цит. по: ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков / текст памятника подгот. Н. Ф. Дробленкова. М.: Худож. лит., 1987.
- ²⁴ «Сказание» Авраамия Палицына цит. по: ПЛДР: Конец XVI – начало XVII веков / текст памятника подгот. Е. И. Ванеева. Указ. соч.
- ²⁵ «Временник» Ивана Тимофеева цит. по: Временник Ивана Тимофеева / текст памятника подгот. О. А. Державина. М.: Изд-во АН СССР, 1951.
- ²⁶ «Хронограф 1617 г.» цит. по: ПЛДР: Конец XVI – начало XVII веков / текст памятника подгот. О. В. Творогов. Указ. соч.
- ²⁷ «Повесть о Горе-Злочастии» цит. по фототипическому воспроизведению рукописи в изд.: Сими́и П. К. Повесть о Горе-Злочастии, как Горе-Злочастие довело молодца во иноческий чин, по единственной сохранившейся рукописи XVIII века // Сб. ОРЯС. СПб., 1907. Т. 83, № 1.
- ²⁸ «Служба кабаку» цит. по: ПЛДР: XVII век. М.: Худож. лит., 1989. Кн. 2 / текст памятника подгот. Н. В. Понырко.
- ²⁹ «Житие» протопопа Аввакума цит. по: ПЛДР: XVII век. Кн. 2 / текст памятника подгот. Н. С. Демкова. Указ. соч.